

Аркадий Застырец

Стихи двенадцатого года

Лара в Чирчике

С невидимкой на виске,
Скрыта летом, точно мелом,
Платья с бантами пробелом,
Моя Лара в Чирчике.

А вокруг — цветенье роз,
Чёрно-сахарные сливы
И, отдать плоды счастливый,
Ярче солнца абрикос.

Дети, небо, свет, вода,
Жаром-жар живородящий...
Я ж — ещё не настоящий,
Мне пока нельзя туда.

Самолёт с моей руки
Улетел в одно касанье.
Что мне чайные и тшанье?
Неделимо далеки!

О единственном глотке
По незнанию мечтаю
И над атласом гадаю:
Кто там? Где там? В Чирчике?

Парады, сирень, физкультура,
Ждёшь утра всю ночь до утра...
— Куда ты торопишься, дура?
Пять-тридцать, ещё не пора.
И что тебе это движенье,
В горе керосиновый гул
И, в улицу строя вторжение,
Чуть ветер — и солнце задул?

Зачем тебе равенство, девка?
Всех краше ты и веселей.
К чему тебе с прочими спевка?
Ангиной с утра заболей!
— Ах, матушка, матушка, что вы!
Я верю, что нынче мы все
К разбегу по взлётной готовы
Бетонной во сне полосе.
Не зря в волосах, белоснежны,
Взрываются банты легко,
Недаром, чисты и прилежны,
Натянуты туго трико,
И руки умеют волнами
Помалу ходить от плеча,
И флаг пламенеет над нами,
По холоду шёлк волоча!

Не так уж часто умирают
В жилом массиве старики —
По вечерам они играют,
И реют в небе колпачки,

Их время нынче на исходе,
Их немощь силы не сулит,
Они подвержены погоде
И связаны движеньем плит.

А на рассвете, став по зову
На ширину понурых плеч,
Внимают бережному слову,
Хоть там и нечего беречь.

Иные слепы, немые, глухи,
Скрипят в тумане костыли,
При стариках живут старухи
Под притяжением земли.

Их память ничего не стоит,
И до невидимости бел
Тот свет, который звёзды строит
На кончиках чертёжных стрел.

Спроси у них — тебе расскажут
Про бегство, голод и войну,
О том, что шьют они и вяжут
И смерть во всём подобна сну,

А сон подобен юной жизни,
Где солнце, брызги, взор и стать,
И даже дремлющий на тризне
Умеет голубем летать.

Пинап-2012

Это чья во тьме пилотка
Поплыла-затрепетала,
Точно атомная лодка
Без ветрила и штурвала?

Чьё молчанье — фора рыбам
В полном смерти медсанбате?
Чей алеет мягким сгибом?
Чьи в жару прохладны стати?

Это что за нарушение
Трёх ньютоновых законов?
Чьей невинности крушение
Сходит в хоре горних звонов?

Это храброй санитарки,
Чьи в палате неуступки —
Полумёртвому припарки
Под огнём небесной крупки,

Чья ладонь теплой июля
До того, что рады боли,
Стонут, кличут: «Аля, Гуля,
Уля, Мила, Юля, Оля!»

Иосиф в Египте

Ещё один взошёл Иосиф,
Обиду в сидоре неся,
И землю на небо подбросив,
И голося, и голося...

Меж тем окуклился Египет —
Опять во тьме, опять рабы...
Иосиф срифмовал бы «выпит».
И я бы мог, кабы не бы.

Как на ладонной тёмной складке,
Лежит вся Африка во мне,
В войне, в огне играя в прятки,
И вроде есть, и как бы не...

И кто сказал, что беспрестанна
Лелеющая сытых львов
Трава, Танзания, саванна?
Не плод ли северных грибов?

И кто сказал про эти нити
На острых крыльях ноября,
Где снег из ласточкиной прыти
Молчит, до смерти говоря?

Ни мифом вырезанный Лосев,
Очками рухнувший в цветы,
Никто не говорил, Иосиф,
Ни даже ты, ни даже ты!

Ни свет июльский, угасая,
Нам точных не диктует глаз,
Ни землю на небо бросая,
Иосиф, ты не сдвинешь нас.

И на штыре воложном Нила
В зрачок с орбиты введено:
Вот вам и золото, и сила,
И тьмы горчичное зерно.

Спящий в снегу забывает о боли,
То есть не просто не чувствует, а
Вдруг отрывается воздухом воли
И улетает, как моль от винта.

То есть не пьянь в забытии, а трезвея,
С каждой секундой над морем и тьмой
Веруя крепче, и рея, и вея,
Спящий, казалось бы, прошлой зимой...

И не покорный изгибам простора,
Ибо закону летит вопреки,
Не баритон или тенор из хора,
Не продолжение Божьей руки,

Но на любом языке говорящий —
Это не снег на морозе скрипит —
Временно всё ещё медленно спящий,
Даже — не важно — и мёртвый на вид.

За Виктором недавно Зинаида,
И вот уже затеяли ремонт —
Для чистого и радостного вида,
Комбинезон, графин, косынка, зонт...

Заварен в самый раз и даже лишку
Крахмальный клейстер в розовом тазу.
И не на вечер, на ночь — передышку,
Торопятся — как путники в грозу.

Как все бывают, молоды и гладки,
Ни облачка на высветленном лбу,
Обои клеят в правильном порядке,
Не озираясь: что там на горбу?

За Виктором недавно Зинаида:
И года нет, как счастье началось.
Во власти новобрачного рапида
Так хорошо! Не до смерти небось...

И в сером этом выгоревшем тоне,
В прекрасных лиц мерцающем наклоне
Из прошлого сквозь фотоаппарат
Небесные глаза и не глядят.

Сюзанна без старцев

Исполнена пены морской венерической ванна,
По мокрым плечам, золотясь, утекает рассвет,
И груди водой не теплее рассвета Сюзанна
Невинно ласкает... А старцев-то, старцев-то — нет.

В белёсых глазах не метнётся тяжёлое пламя,
Артритные пальцы не станут от пульса трястись...
Сюзанна чиста, как империи белое знамя,
Чиста и прекрасна, как ты за неё ни возьмишься.

Она погружается телом в прозрачную воду,
И на пол течёт, как воде и велел Архимед...
А старцы замешкались: трудно им стало, по ходу,
Их плоть не восстанет купаниям тайным в ответ.

Они умирают — их похоть, увы, опоздала;
Старейшины рода и града усталые львы
Нисходят навеки с привольных страстей пьедестала...
И некому трогать Сюзанну и мучить, увы.

Безгрешность железа, стыдливость её неустанна,
 Но старцев-то нету — кому ж это всё испытать?
 Ни старца, ни мужа, ни мальчика... Плачет Сюзанна
 И прячет от зеркала в мыле бессмысленном стать.

Сквозит по дому дмухановский
 И шепчет в правое плечо
 По-русски, польски и литовски:
 «Ничё-ничё, ничё-ничё...»

А мы себе простого просим —
 Жилья, одежды и еды,
 И чтоб зима сменила осень
 Огнём небесной череды,

И чтобы мама не болела,
 И чтобы папа — в Небесах...
 А то на что дано нам тело,
 Душе внушающее страх?

И вся затея, вся природа?
 Зачем так трудно сведены
 Частицы в атом водорода,
 Часы в годину старины?

Что станет ужасу затвором
 И смыслу нижней плитой,
 Когда не Бог за разговором
 И не твердыня под пятой?

Мой брат погиб в Афганистане...
 Где он и не был никогда.
 С аванса в водочном дурмане
 Он вновь и вновь летал туда

И врал о небе Кандагара
 И тайной миссии своей,
 О вкусе горького угара
 На веках взорванных друзей.

На оглушительной вертушке,
 Сжимая жаркий автомат,
 И спирту был из мятой кружки
 Из алюминиевой рад.

От света выцветшею бровью
 Он боль к закату прижимал
 И рисовал текущей кровью
 На горизонте контур скал.

Мой брат погиб в Афганистане...
 В жару и губительный мороз
 Он явь в отчаянном обмане
 Сшивал струями мутных слёз

Мой брат погиб в Афганистане...
 Я не сумел его спасти —
 Ни на такси к жене Татьяне
 Кривого насмерть увезти,

Ни в Пасху на богослуженье,
 Ни в воскресенья летний лес,
 Какое, на фиг, тут спасенье,
 Ведь он в такую даль залез!

1960-е

Девчонок выносят со сцены,
А Леннон поёт и поёт.
На сцене же обыкновенный
В утробе столетия год,

Какой-нибудь, скажем, четвёртый,
Лет двадцать, как нету войны,
И воздух, зловонием спёртый,
Снесло в океан тишины.

Девчонок выносят со сцены,
И падают туфельки с ног
Мадрида, Парижа и Вены
В кочующий лондонский смог,

Орут и визжат не от боли,
И слёзы текут по щекам
По собственной влюбчивой воле
И прочим таким пустякам...

Ни Сталина нет, ни нацистов,
Европа взошла из трущоб;
По-клоунски как-то неистов,
Не так уж и страшен Хрущёв.

Всё больше летит легковушек
По бархатным лентам шоссе,
Всё чаще красивых старушек
На взлётной видать полосе.

Грядут и грядут перемены,
Бикини, болонья врзлёт...
Девчонок выносят со сцены,
А Леннон поёт и поёт.

Дух творит себе формы,
По городу в сумрак летая,
И с тех пор до сих пор мы
Живём, эти формы листая,
Второпях и бесшумно,
Солдаты во сне и в субботу,
Исполняя мгновенно
Загробную даже работу,
Эти стены и крыши
Собою с утра оглашая, —
Слух имеющий слышит —
Шагаем, задачу решая,
Утешаем ребёнка,
Латаем тайком табуреты,
И не рвётся, где тонко,
Не падает, где мы и где ты.

Потому что бессмертье
Рисует всё новые цели,
Не хотите — не верьте,
Усталый не чувствует мели,
Убегает, ложится
И думает, что умирает,
И усталому снится,
Что он в умиранье играет,
И уснувшему мстится,
Что на кон он ставит дыханье,
И рулетка вертится,
И выигрыш ясен заранее,
И секунда — как шарик,
Со стуком вращается, скачет,
А рука уже шарит,
А образ явился и значит...

Красный, оранжевый, жёлтый

Мне нравится вид из окна —
Под снегом плетёные ветки,
И улица утром видна,
Как птица в нечищенной клетке.

Огонь заявила зима,
Собака согрелась — не лает,
И каждый охотник желает
В чужие проникнуть дома.

И кто не охотник вперять
За стёкла нескромные взоры?
Не все ли мы робкие воры?
Всё тащим, не в силах понять...

Иметь бы, вживить бы под дых
Без платы, без спросу и права!
Пускай нам и воздух — отрава,
И снег-то — смертелен и тих.

Вся наша страна — сторона,
Где брызги — поминки приборю...
И ладно! Пока я с тобою,
Мне нравится вид из окна.

Глаза профессора

Третий глаз? Не смешите меня.
У профессора всяко их шесть.
Для воды, для земли, для огня,
Чтоб дышать, чтобы пить, чтобы есть.

И, конечное, шесть — не предел,
Открываются за полночь к ним
Живописецкий глаз-новодел,
Стихотворческий глаз-невредим.
А когда, наглядевшись, уснут,
Замережась ресницами в тишь, —
Отворяются глаз-первопут
И помощник его — карамыш.

Ну и, чуть приступает рассвет,
Что ни шесть, к своему волшебству, —
Разгуляется глаз-небоведа,
Не покорный телес естеству.

Он уносит профессора ввысь,
Через радуги струнный разбор,
Так что без толку звать — оглянись!
И впустую кричать — мутабор!